

Стефано Алоэ

Вина и гордость: эпистолярный дискурс русско-го дворянства и следы Декабрьского восстания

Guilt and Pride: Tracing the Decembrist Uprising in the Epistolary Discourse of the Russian Nobility

The defeat of the Decembrist Revolt of 1825 was a critical turning point in the life and worldview of an entire generation of Russian aristocrats. The whole system of values that ruled the friendly and social relations among young intellectuals cracked abruptly, thus leaving them with an emotional and intellectual void. This situation concerned not only the Decembrists, who were in various ways prosecuted because of their active participation in the Revolt, but even those ones who did not take part directly in it, such as the poet Aleksandr Pushkin. At that time, epistolary exchange was the main form of intimate communication in the educated class, therefore it is possible to trace deep emotional and stylistic changes in it. Mostly, these changes concern intellectual freedom. Certain ideas became unspeakable. Intellectuals' feelings fluctuated between a pride in their civic heroism and a sense of guilt or frustration that generated the concept of 'superfluous man'. This paper will examine the stylistic and thematic strategies aiming at conveying the feelings of guilt and pride, in particular we will focus on those strategies exploited in the epistolaries of Pushkin, Vil'gelm Kiukhel'beker and other men of letters connected with the Decembrist Revolt.

Разгром декабристского восстания 1825 года – переломный эпизод в жизни и мировоззрении целого поколения русской аристократии. Вся система ценностей, на которых держались дружеские и социальные отношения молодых литераторов и общественных деятелей претерпела крах, оставляя в них ощущение эмоциональной и интеллектуальной пустоты. Это касается не только декабристов, т.е.

людей, разными способами наказанных за участие в восстании, но и тех, кто остались относительно невредимыми, как например А.С. Пушкин. Эпистолярное общение – едва ли не самая характерная для XVIII-го и первой половины XIX-го веков форма интимной коммуникации образованной среды (ср. Тынянов 1977: 264–266; Макогоненко 1980; Тодд 1994; Росси 1994; Лаппо-

Данилевский 2013)¹. Поэтому в нем и встречаются яркие следы глубоких эмоциональных и стилистических перемен, связанных по большей степени с вопросами гражданской и интеллектуальной свободы, с расширением сферы невысказанного и недосказанности, с колебанием между гордостью за гражданский героизм (декабризм как самопожертвование во имя Отечества и Просвещения) и чувством вины, порождающим понятие “лишний человек” (декабризм как неудача, иллюзия и несложившийся идеал – ср. Эйдельман 1979: 216–220).

Мы говорим о поколении, для которого “литературность” укоренена в самой жизни, и

¹ Справедливо замечал Н.Л. Степанов, что посредством переписки “Пушкин ратует за создание точного и ясного слога, за создание “метафизического языка”, т.е. такого, при помощи которого можно было бы выразить все оттенки мысли, все новые понятия, еще во многом неуклюже и тяжело-весно передававшиеся в силу неразработанности языка прозы, русского литературного языка” (Степанов 1965: 453). А по мнению Ю.Н. Тынянова, “из бытового документа письмо поднимается в самый центр литературы” (Тынянов 1977: 239). Не менее значимым представляется рассуждение Г.П. Макогоненко о том, что “Именно в письмах писателей раньше всего и полнее всего получила свое воплощение тема личности” (Макогоненко 1980: 16).

для которого становление современного русского языка неотъемлемо от личного общения внутри дворянской среды, в первую очередь именно через эпистолярную практику, с которой, как характерно для эпохи, часто переплетается стиль сентиментальной поэзии, журнальных статей, критических обзоров, литературных полемик, не говоря о знаковой роли таких литературных жанров, как “эпистолярное путешествие” и “послание”², в которых все они, независимо от своей позиции по отношению к “новому слогу”, шли по стопам Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева (Вяземский 2006: 84).

Несомненно, при сравнении их писем со стихотворными “дружескими посланиями” можно найти много общего в стиле, лексике, тематике. Письма являются часто отражением работы над художественными текстами, они изобилуют разного рода явными или скрытыми цитатами. Так сплетаются в понимании их авторов *жизнь и сло-*

² “Дружеское литературное письмо поэтому следует признать гибридным жанром, оказывающимся на границе фактуального и фикционального миров, соединяющим в себе черты и собственно письма, и послания” (Лаппо-Данилевский 2013: 129).

весность; а последняя для многих из них является пространством для контакта с “истинной”, т.е. высшей действительностью³. Следовательно, пространство эпистолярных отношений воспринимается авторами как эксклюзивное и драгоценное, оно отделяет поэтов от “черни” и удаляет от бытовой реальности, пусть даже имея своим

³ Одной из характерных точек для данного контакта является, по словам Ю.М. Лотмана, нарочитое значение устной речи в культуре эпохи: “Трудно назвать эпоху русской жизни, в которую устная речь: разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филиппики – играла бы такую роль [...]. Языковое поведение декабриста, было резко специфическим [...] характерной чертой его было стремление к словесному наименованию того, что, реализуясь в области бытового поведения, табуировалось в языке [...]. Поступки, находившиеся вне словесного обозначения, с одной стороны, и обозначающиеся эвфемистически и метафорически, – с другой, получают однозначные словесные этикетки. Набор таких обозначений относительно невелик и совпадает с этико-политическим лексиконом декабризма. В результате, во-первых, бытовое поведение перестает быть только бытовым: оно получает высокий этико-политический смысл. Во-вторых, обычные соотношения планов выражения и содержания применительно к поведению – меняются: не слово обозначает поступок, а поступок обозначает слово” (Лотман 1975: 30, 36).

предметом обсуждения конкретных, даже бытовых дел и действий (впрочем, в этом отражается определенная традиция – Гораций и Монтень связывали свое литературно-эпистолярное пространство и *сиге* бытовой и общественной жизни). Языком, пестреющим высоко-литературными и иносказательными формами, например, обсуждает с П.А. Вяземским Пушкин скабрезное затруднение с одной забеременевшей от него крестьянкой из Михайловского: тон колеблется между шуткой и серьезностью, откровенностью и умолчанием, изяществом и нарочитой небрежностью, на грани грубости⁴; главную роль в разработке темы получает стилистическая оболочка иносказания о щекотливом деле:

Милый мой Вяземский,
ты молчишь, и я молчу;
и хорошо делаем – по-
толкуем когда-нибудь на
досуге. Покамест дело не
о том. Письмо это тебе
вручит очень милая и

⁴ Ср. высказывание Пушкина в другом письме тому же Вяземскому: “Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали” (Пушкин 1982: I, 170).

добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о *попе*; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах (Пушкин 1982: I, 240).

Так Пушкин пишет о девушке, а одновременно и о литературе и литературных связях (ср. “послание во вкусе Жуковского”...). Активное качание “семантического маятника” между противоположными чувствами гордости и вины (или, скорее, неловкости) своей игривой литературной динамикой избегает риска остановиться на самом предмете вины, и сама литературность высказывания переносит описанный факт из сферы морали и быта в сферу творческой фантазии – как будто не о реальном происшествии идет речь, а о параллельном мире изящного. В другом письме,

Пушкин спрашивает о той же девушке: “Видел ли ты мою Эду? вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?” (Пушкин 1982: I, 243) – где молодая крестьянка уже получила свой эпитет – Эда, по имени финской героини со схожей судьбой из недавно тогда появившейся поэмы Е.А. Боратынского.

Но в этом начале тревожного 1826 года скабрзность любовного приключения Пушкина лишь отчасти отвлекает внимание двух переписчиков от более сильно волнующей их темы – в месяцы, когда Пушкин находится под особым надзором и ожидает вероятного ареста за свою близость к декабристам (если не прямо за участие в заговоре). На это и намеки о молчании (“Милый мой Вяземский, ты молчишь, и я молчу; и хорошо делаем...” – см. выше, – на что ответ Вяземского – “Ты жалуешься на мое молчание: я на твое. Кто прав? Кто виноват? Оба. Было время не до писем” – Пушкин 1982: I, 241). Литературная игра, с постоянными перемещениями из измерения реальности в измерение воображения и обратно, стала в те месяцы не менее опасной, чем активная политическая деятельность. Об этом пишет не раз в своих письмах А.А. Дельвиг:

“Литература давно уже не принимается или не должна быть принимаема в гостиную: так она грязна. Об ней говоришь в передней с торгашами” (Дельвиг 1986: 308).

Это момент, когда те самые дружеские или саркастические эпитеты, которыми литераторы жаловали друг друга, чтобы охарактеризовать в воображаемом мире словесности, могут либо подвергать их опасным обвинениям, либо спасти их от подозрений. “Язвительный” Вяземский, “ленивый” Дельвиг, “сладострастный” Пушкин, “сумасшедший” Кюхельбекер – эпитеты, которые из интимной сферы литературного кружка, где обладали внутренней семантикой, легко переносились на уровень общественного мнения.

Пример Кюхельбекера крайне характерен: сам Кюхельбекер любил говорить о себе в терминах сумасбродства, так например он пишет в альбоме П.Л. Яковлева в середине 1820-х: “Кюхельбекер – странная задача для самого себя – глуп и умен, легковерен и подозрителен [...]. Его желание, чтобы друзья о нем сказали: он – чудак, но мы охотно бываем с ним; мы осуждаем его за многое, но не перестанем быть к нему привязанными” (цит. по: Азадовский 1991: 336). После

декабрьского восстания этот эпитет скоропостижно переосмысливается. Об этом явно свидетельствует переписка издателя *Благонамеренного* А.Е. Измайлова, который с Кюхельбекером до декабря 1825 года сотрудничал довольно активно: “Кланяйся всем общим знакомым и особенно долговязому Кюхельбекеру. *Добрый малый!*” (здесь и в последующих цитатах – курсив мой – С. А.), пишет он в октябре 1824 года общему знакомому (Левкович 1978: 160). В апреле 1825 года Измайлов подтверждает эту характеристику Кюхельбекера: “*Дик, но мил! Право, я люблю его: он благородный малый...*” После 14-го декабря система ценностей подвергается кризису. Комментируя события на Сенатской площади вскоре после восстания, Измайлов в одном письме замечает с сожалением, что “в каре, составленном из штыков, был и *сумасшедший наш, Кюхельбекер*” (24 дек. 1825 г.). А уже в начале января он пишет: “*Сказывают, будто сумасшедший Кюхельбекер 14<го>, в день возмущения, метил из пистолета в Великого Князя Михаила Павловича; но один солдат (из бунтовщиков) ударил долговязого Дон-Кишота по руке*” (Цитаты приведены по: Левкович 1978:

181, 183). Сумасшествие Кюхельбекера (пусть в виде социальной девиации, а не настоящей психической патологии) становится для Измайлова вполне реальным и опасным фактом, литературная “игра с жизнью” меркнет перед историческим переломом.

Так же произошло с весьма осторожным Жуковским, который до тех пор принимал “фанатизм” Кюхельбекера со снисходительностью и некоторой симпатией: среди бунтовщиков, пишет Жуковский в одном письме, “оба Кюхельбекеры, морской и другой, сумасшедший, наш знакомец”... (Жуковский 2004: 241–242). А А.И. Тургеневу Жуковский пишет сгоряча между 14 и 15 декабря 1825:

По сию пору не найден только один Кюхельбекер, и признаться, это несколько меня беспокоит. Он неопасен, как действительный открытый: он и смешон, и глуп; но он бешен – это род Занда! Он способен в своем фанатизме отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы приобрести какую-нибудь известность. Это зверь, для которого надобна клетка (Жуковский 2004: 243).

Портрет “сумасшедшего” парадоксально послужил смягчению участи Кюхельбекера, что сразу поняли его ближайшие друзья. Это явствует из письма Дельвига Пушкину от начала 1826 г., когда стала известна поимка беглеца:

Наш сумасшедший Кюхля нашелся, как ты знаешь, в Варшаве. Говорят, что он совсем не был в числе этих негодных Славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета. Говорят, Великий Князь Михайло Павлович с ним более всех ласков, как от сумасшедшего от него можно всего ожидать, как от злодея – ничего (Пушкин 1982: I, 389).

Дельвиг здесь пишет не только для Пушкина. В переписке Пушкина и многих других приближенных к делу восстания в этот период усиливается обоснованное опасение, а порой уверенность, что их письма могут попасть в руки Третьего Отделения. Таким образом, в эпистолярном корпусе декабристов и их друзей можно нередко констатировать присутствие двойного, “подпольного” адресата: кроме яв-

ного возникает другой, скрытый адресат письма, осязаемый обоими переписчиками как предполагаемый и порой главный⁵. Как Пушкин, так и некоторые декабристы пишут письма своим друзьям и товарищам с тем, чтобы дать понять Комиссии, что они не виновны, не причастны к делам восстания; или, если причастность неоспорима, чтобы ее оправдать патриотическими причинами или ошибкой в оценке ситуации при благородных намерениях. ИмPLICITным адресатом может являться новый император, или Третье Отделение. Привожу несколько примеров (курсивом выделено мой – С. А.):

Пиши ко мне по-прежнему, за то я буду отвечать не по-прежнему, т.е. аккуратнее (Дельви́г Пушкину – Пушкин 1982: I, 389).

⁵ С расчетом передать следственной комиссии оправдательные сведения, Пушкин в конце января 1826 г. косвенно ходатайствует и за судьбу А.Н. Раевского: “Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня” (Пушкин 1982: I, 388).

Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма! я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, – но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с прави-

тельством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружение заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни – как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя (Пушкин Дельвигу – Пушкин 1982: I, 390-391).

Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает. Прощай, пиши (Пушкин Вяземскому – Пушкин 1982: I, 247).

В то время, пока корреспонденты пытаются доказать косвенными стратегиями свою невинность и оградить себя от преследования и кары, в их письмах, тем не менее, не раз продолжается тонкая игра намеков и недомолвок в попытке высказать то, что явно не может быть оглашено. Хорошее знание риторики и литературная игра (намек, цитаты и проч.) активно служат этим целям. Характерен в этом отношении намек в письме Пушкина Вяземскому от 10 июня 1826 г. на высказывание аббата Фердинандо Гальяни во времена французской революции – “Знаете ли вы мое определение того, что такое высшее ораторское искусство? Это – искусство сказать всё – и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить всё”... (цит. по: Пушкин 1982: I, 248). Пушкин этим примером призывает Вяземского написать текст о великом деле Карамзина для отечественной истории: “скажи всё; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре” (Пушкин 1982: I, 247).

В дни работы следственной комиссии вопрос о рукописях и печатных текстах становится

центральным: “Я рад, что ты здоров и не был растревожен. Сиди смирно, пиши, пиши стихи и отдавай в печать! Только не трать чернил и времени на рукописное. Я надеюсь, что дело обойдется для тебя хорошо”, – так Вяземский советует Пушкину (Пушкин 1982: I, 241-242). Под “рукописным” имеется в виду распространение художественных текстов в рукописном, неподцензурном виде – альтернативный канал обогащения русской словесности (исключительно через него становились доступными такие произведения, как *Горе от ума* А.С. Грибоедова). Рукописи стали чрезвычайно опасными, и это касалось не в меньшей степени и писем.

Стилистическая и содержательная сложность эпистолярных эпохи хорошо объясняется совокупностью вышесказанных причин. Эпистолярный жанр, уже до восстания, отличается свободой выражения, позволяющей переписчикам упражняться в литературном деле и экспериментировать с языком. Это, впрочем, период, когда идет окончательная борьба с традиционными жанрами и их центральным положением в стилистике и поэтике. Так, письма литераторов часто выглядят как

плодотворный и свободный от нормативных уз литературный пастиш, в котором имеют равное право сосуществования литературность и антилитературность, просторечье и высокий стиль (особенно с пародийными целями), этикетность и дружеское озорство. Письма по своей природе весьма диалогичны, так как адресат все время предполагается в тексте и часто обозначается посредством обращений, вопросов и намеков. Эмоциональность является одним из главных тонов эпистолярного стиля, особенно в дружеской переписке, а тема литературного братства ярко характеризует эпоху. Не менее характерна смесь языков, особенно с вкраплениями французского. Ср. письмо Кюхельбекера Пушкину, написанное уже через много лет, в 1830-е годы:

Ты видишь, мой друг, я не отстал от моей милой привычки приправлять мои православные письма французскими фразами. – Вообще я мало переменялся: те же причуды, те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в Лицее! Стар я только стал, больно стар и потому-то

туп... (Пушкин 1982: II, 242).

Эпистолярная форма, в виду всех упомянутых характеристик, после событий декабря 1825 года стала центральной для решения новых срочных задач для участников восстания и для их социокультурного окружения: присутствие имплицитного потенциального адресата (“сверх-адресата”) помимо прямого эксплицитного “собеседника”; потребность оправдываться и репозиционироваться в контексте резко изменившегося общества; раскол самого общества между лояльным непричастным к делам большинством, с одной стороны, и побежденными “преступниками” и сочувствующими им друзьями, с другой, – все это выдвинуло письма к роли “боевой границы”, формирующей новое моральное и социальное положение целого поколения русских дворян. Вдоль этой границы, среди возможных ключевых тональностей самоопределения адресантов выделяются мотивы вины и гордости. Эти два чувства, на первый взгляд прямо противоположные, в их сознании на самом деле сплетаются и дополняют друг друга.

Непроста задача определить контуры понятий вины, самообвинения и гордости, объявленных в названии статьи: существует слишком много разных ситуаций и личностей, чтобы претендовать на выделение неоспоримо общих черт. В целом, большинство заговорщиков проявляли чувство гордости за свои идеи и поступки, некоторые из них (А.И. Якубович, А.А. Бестужев, А.С. Грибоедов, П.Г. Каховский и др.) даже обращались к самому императору с надеждой получить от него понимание и поддержку за свою искренность, за благородность своих намерений. Гордость и ощущение собственного героизма можно найти у Бестужева, Грибоедова, Кюхельбекера, И.И. Пущина среди прочих. Последние двое одновременно порой проявляли совместно с гордостью и чувство вины, так как считали ошибкой свое участие в восстании. Так, например, Пущин обращается к отцу, сестре и братьям:

Ах! ужели не позволят мне к вам писать... Пусть меня всего лишают, я все перенесу, но за что же вас наказывать. Истинно вам говорю, что для меня и, верно, для нас всех тяжеле преступления

огорчение родных. Я чувствую надобность страдать и благодарю бога, что он необыкновенным образом меня укрепляет. Без ропота малейшего все переношу и будущим не пугаюсь, но за что же вы должны... под этим тяжелым лишением [...] – я научился терпению, которого у меня не доставало, научился между тем зрело рассуждать (Пушкин 1999: 83).

Попробуем выделить и комментировать ряд примеров, отражающих разные эмоции, которые в последекабрьских письмах находят (или не находят) выражение и на основе которых можно будет говорить о приспособлении эпистолярного общения к новой, по сути посттравматической ситуации. Одно ключевое значение имеет чувство вины, поскольку оно по своей природе обычно раскрывается неохотно и только под давлением чрезвычайных побуждений. В случае эпистолярия декабристов можно сказать с достаточной долей точности, что чувство вины, если и проявляется, то с определенными оговорками: декабристы никогда не отрекаются от идеа-

лов, вызвавших их к восстанию, а вину ощущают скорее из-за его последствий (вина перед товарищами за выданную комиссии информацию), или по осознанию внезапности и легкомыслия, с которыми они пошли на восстание. Вина в таком случае состоит в том, что неподготовленность восстания привела к разрыву личных судеб участников и обрекла на провал чаяния и идеалы целого поколения. Характерно, как подобные чувства отражаются в письмах-обращениях новому императору Николаю I, с которым многие из заговорщиков имели семейные и личные связи. Во всех письмах государю прямо или иносказательно выдвигается идея о нелживой откровенности как дани дворянской чести, связующей Николая Павловича и заговорщиков воедино (это, конечно, не исключает элемент расчета и стратегии – нелживость тут является мотивом, ее не обязательно нужно принимать за полностью искреннее чувство). В этом духе пишет А.А. Бестужев императору⁶,

⁶ Оставим в стороне вопрос, насколько признания Бестужева искренни... Сопоставление с другими его письмами и тот самый тон письма дают повод думать, скорее, о желании льстить императору. При этом харак-

признаваясь в своем “заблуждении”, притом настаивая на откровенности истины ради:

Уверенный, что Вы, Государь, любите *истину*, я беру дерзновение изложить пред Вами исторический ход свободомыслия в России, и вообще многих понятий, составляющих нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря. *Я буду говорить с полною откровенностью, не скрывая худого, не смягчая даже выражений, ибо долг верноподданного есть говорить Монарху правду без прикраски [...].* Признаюсь, я не раз говорил, что Император Николай с его умом и суровостью будет деспотом, тем опаснейшим, что его проницательность грозит гонением всем умным и благонамеренным людям; что Он, будучи сам просвещен, нанесет меткие удары просвещению; что участь наша решена с минуты Его восшествия, а потому нам все равно

терно, что аргументы откровенности и раскаяния вписываются в набор ценностей, культурно объединяющих царя и дворянство.

гибнуть сегодня или завтра. Но опыт открыл мне мое *заблуждение, раскаяние* омыло душу, и мне отрадно теперь верить в благости путей Провидения... Я не сомневаюсь по некоторым признакам, проникнувшем в темницу мою, что Ваше Императорское Величество посланы Им залечить беды России, успокоить, направить на благо *брожение умов* и возвеличить отечество (курсив мой – С. А.; Орлов 1951: 510, 514).

Подобный же характер носят обращения П.Г. Каховского, по признанию своего “заблуждения”, также взывающего к чистоте намерений:

Государь! Я сделался пред Вами *преступником*, увлекаясь любовью к отечеству [...]. Намерения мои были *чисты*, но в способах, вижу, я *заблуждался*. Не смею просить Вас, простить мое *заблуждение*; я так растерзан Вашим ко мне милосердием. Я не способен никому изменять; я не изменял и обществу, но общество само своим *безумием* изменило себе

[...]. Государь! верьте, я не обману Вас! могу ошибиться, но говорю, что чувствую: невозможно идти против духа времени, невозможно нацию удерживать вечно в одном и том же положении [...]. Мне собственно ничего не нужно, мне не нужна и свобода, я и в цепях буду вечно свободен: тот силен, кто познал в себе силу человечества. Честному человеку собственное убеждение дороже лепета молвы (курсив мой – С. А.; Бороздин 1906: 21-22).

На потребность в “строгой истине” опирается обращение А.И. Якубовича, которое так же является одновременно признанием и оправданием совершенных поступков:

Не наглая дерзость, или язык лести, будет излагать мои мысли и замечания; нет, одну строгую истину представлю пред глазами Вашего Величества. – Не имея теперь ничего общего с людьми, в каземате, когда меч правосудия висит над моей головой,

хочу хотя истиной служить Отечеству и как награды за сей поступок, прошу, Государь, доверенности к моим словам (курсив мой – С. А.; Бороздин 1906: 75).

Приведенные примеры, разумеется, относятся к разряду полуофициальных писем. Они интересны в первую очередь тем, что в них отражены темы и стилистика, присущие также и частным письмам декабристов. Диалектика откровенности и иносказания, гордости и смирения, терпения и негодования наполняет эпистолярный драматический напряжением. Гордость проявляется, хотя бы в первые годы, почти без исключения, но она редко объявляется открыто – чаще наблюдаем стратегии имплицитного утверждения собственного героизма (в формах стоицизма, безропотного самопожертвования, терпения). Например, смирение и твердость духа – лейтмотивы писем Бестужева близким и друзьям; однако они служат драматизации чувств и переживаний, поскольку их невысказанная подоплека – непримиримость и боевой дух пишущего: они служат “лакмусовой бумажкой” для настоящих чувств, часто недопустимых в

письмах в виду цензурного надзора:

Я имел о вас вести, которых ждал с нетерпением; ваша твердость подкрепляет мое сердце, и такой пример терпенья учит меня быть достойным уважения, уважая и подражая вашему равнодушию к физическим страданиям. И не стыдно ли было бы нам падать духом, когда слабые женщины возвысились до прекрасного идеала героизма и самоотвержения? В самом деле, при этой мысли я проникнут чистым, умиротворяющим чувством восторга. Эта мысль обновляет мою душу, и я мирюсь с человечеством (Бестужев 1981: 495)⁷.

Сердце болит. Может быть, вы спросите, собственно, обо мне. Скажу: я потерял все, даже надежду, – все, кроме твердости духа. Только это пособляет нести

⁷ Письмо написано по-французски, но в оригинале публиковалось только однажды (*Русский Вестник*, 1870, т. 86, № 5); все дальнейшие издания, к сожалению, приводят только русский перевод.

горькую судьбу мою. На этом стебле расцветает изредка цвет воображения – но счастья никогда. Я не предвидел такой ползучей жизни – не умею сносить ее, и неожиданно я с гордостью поднимаю порой цепь судьбы и говорю сам себе: тяжесть ее – мера силы пленника (Бестужев 1981: 500).

Резкость Бестужева, едва ли прикрытая словами о терпении, – редкое исключение на фоне в среднем более осторожных, смиренных эпистолярных проявлений других декабристов. В общем преобладает ощущение, что письма неизбежно проникнуты недосказанностью, заполняющей пробел между мыслями и словами:

теперь я в таком волнении, что ничего порядочно не умею ни оказать, ни написать. *В краткости толку мало, а распространяться некогда* (курсив мой – С. А.; Грибоедов С.И. Алексею – Грибоедов 1971: 264).

Трудно и почти невозможно (по крайней мере, я не берусь) дать вам от-

чет на сем листке во всем том, что происходило со мной со времени нашей разлуки, – о 14-м числе надобно бы много говорить, но теперь не место, не время, и потому я хочу только, чтоб дошел до вас листок, который, верно, вы увидите с удовольствием (курсив мой – С. А.; Пущин Е.А. Энгельгардту – Пущин 1999: 89).

Для меня время не существует: через десять лет или завтра для меня à peu près все равно. [...]. Престранное дело письма: хочется тьму сказать, а не скажешь ничего (курсив мой – С. А.; Кюхельбекер Пушкину – Пушкин 1982: II, 241-242).

Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы (Пушкин Вяземскому – Пушкин 1982: I, 253).

Попытки возвращаться в письмах к металитературной игре характеризуют тех декабристов, которых можно по праву считать литераторами

(это Кюхельбекер, Александр Бестужев и некоторые другие⁸), и в этом отношении их письма являются по структуре и стилистике самыми богатыми среди всего принятого во внимание корпуса. Но такие попытки в общем – провальные: измененные условия жизни, при которых узники и ссыльные осознают свою отрезанность от литературной среды, вместе с невозможностью установить стабильную переписку со свободными друзьями и с товарищами по беде, придают этим письмам ярко ностальгический и печальный тон, как это особенно чувствуется в эпистолярной Кюхельбекера:

⁸ Традиционная категория “литераторы-декабристы”, характерная для советского канона русской литературы и объединяющая целый поток перво-, второ- и третьестепенных поэтов и писателей под ярлыком декабризма, явно показывает свою устарелость и в случае эпистолярного корпуса (об аргументах для оспаривания данной категории см. Алоэ 2003: 43–45): разница между убежденными литераторами, для которых словесность являлась делом жизни, и окказиональными авторами-любителями, время от времени занимающимися литературой, выражается прежде всего в разной степени интертекстуального расслоения писем. Это не вопрос их художественного качества, а их структурно-стилистических черт.

Часто я думаю о вас, мои друзья; но увидеться с вами надежды нет как нет; от тебя, т.е. из твоей псковской деревни до моего Помфрета правда, не далеко; но и думать боюсь, чтоб ты ко мне приехал... А сердце голодно: хотелось бы хоть взглянуть на тебя! Помнишь ли наше свидание в роде чрезвычайно романтическом: мою бороду? Фризовую шинель? Медвежью шапку? Как ты через семь с половиною лет мог узнать меня в таком костюме? вот чего не постигаю! [...]. Стар? Да, любезный, поговаривают уже о старости и нашей: волос у меня уже крепко с русого сбивается на серо-немецкий; год, два, и *Амигдал процветет на главе моей*. Между тем я, новый Камоэнс, творю, творю – хоть не “Лузианды” – а ангельщины и дьявольщины, которым конца нет [...]. Прощай, друг! Должно еще писать к Дельвигу и к родным; а то бы начертил бы тебе и поболе. – For ever your William (Пушкин 1982: II, 242).

Писать, чтобы “оживить жизнь”, ставшую мертвой: такое значение приобретает эпистолярный не только для многих декабристов, но и для их свободных друзей, ощутивших перемену атмосферы и конец эпохи, как явствует из переписки Пушкина с Вяземским или, еще ярче, Дельвига с Боратынским: “Письма ко мне могут послужить тебе доскою, за которую хватаются утопающие”, пишет Дельвиг другу (Дельвиг 1986: 310), а еще: “ты нам нужен и как друг, и как оживитель мертвой петербургской жизни, особенно теперь. Дни через два все дамы сошьют траурные платья и последний источник разговоров иссякнет. Литература давно уже не принимается или не должна быть принимаема в гостиную: так она грязна. Об ней говоришь в передней с торгашами” (Дельвиг 1986: 308).

Что касается знаковой ценности поколения в додекабрьском периоде – дружбе – то ей удалось пережить травму декабря и сохраниться почти неизменно в своей объединяющей силе после восстания. Дружба – чувство, которое поколение Пушкина ставит выше всех остальных и которое располагает к тесно солидарным человеческим союзам;

сеть дружбы окажется гораздо прочнее формальных связей тайных обществ и масонской дисциплины, для развития которых, впрочем, код дружеской солидарности играл значимую роль. Сентиментальными, почти избыточными повторами, например, выражает свои дружеские чувства Вяземскому М.Ф. Орлов:

Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить. И брат в Петербурге, и жена в Москве доказывают на тебя, как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях твоих, как ты стоишь грудью за них и как ты не отходишь в несчастье от тех, которых в счастье любил. Прийми, любезный друг, истинное изъяснение моей дружбы и моей благодарности за то, что во все мое отсутствие ты и жена твоя ни на минуту не оставляли мою жену без утешений. Бог вам за это заплатит когда-нибудь, а я, мой друг, с чувством нежнейшей дружбы прижимаю тебя к сердцу моему [...].

Прощай, друг мой (Орлов 1963: 238)⁹.

Дружественный союз бывших лицеистов всю жизнь оставался твердым ориентиром для Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Пущина. Как известно, для опальных товарищей после 1825 года многое делал водимый этикой дружеской верности Пушкин, за что как Пущин, так и Кюхельбекер не упустили случая выразить свое признание.

Мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков заботаешься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди хладнокровные, и рассудительные обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы [...]. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому

⁹ См. также в других письмах Орлова Вяземскому: “целую тебя в курносый твой нос”; “Прощай, любезный друг, я тебя душевно люблю и в глаза, и за глаза. Люби меня и не забывай” (Орлов 1963: 238, 241).

что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось. – Мое заточение кончилось: я на свободе, т.е. хожу без няньки и сплю не под замком (Пушкин 1982: II, 245–246).

Гордость и одновременно разочарование, страх, пессимизм: с такими эмоциями сталкивалось поколение декабристов. Эпистолярный стал для них одним из немногих, зато ценных и выразительных, средств для переработки своих травм и для переоценки своих ценностей. Через письма они продолжали держать хрупкую связь со свободным миром, с литературной средой, с близкими людьми. Часть элементов эпистолярного стиля додекабрьского периода перешли в последующий, претерпев процесс адаптации и изменения (так, например, литературная игра с цитатами, вкус к каламбуру и стремление к эпитету, сохранившиеся в стиле писем, но, по большому счету, изменившие роль и вес, т.е. потерявшие свою беспечность и, если можно так сказать, “помрачневшие”); не пережили эпоху языковые и стилистические

эксперименты, характерные для начала 1820-х гг. и связанные в первую очередь с романтическими дебатами между так называемыми “славянами” и “французами”; а завуалированные формы выражения идеологических концептов, носящие до 1825 года некоторый игривый и дерзновенный характер, пришлось переменить на более скрытые и осторожные намеки об идейных позициях, которые и сами по себе приобрели скорее этико-философские, а не политические оттенки. Заявления о справедливости, иной раз сопровождаемые сожалением, унынием и чувством вины, дают характерный тон эпистолярным наказанным декабристам.

Стоит считать эпистолярный текст одним из самых богатых информацией источников для изучения истории русского литературного языка и его стилистики первой половины 19 века, а также для изучения русской дворянской культуры. Очень ценным предприятием было бы составление электронного корпуса эпистолярных текстов пушкинской эпохи, так как многие из этих писем публиковались в разбросанных изданиях, и не всегда просто доставать письма второстепенных фигур, хотя для

исследователя культуры той эпохи они могли бы предоставить богатую информацию.

Библиография

Азадовский 1991: Азадовский, Марк. 1991. *Страницы истории декабризма*, кн. 1 (Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во).

Алоэ 2003: Алоэ, Стефано. 2003. 'Кюхельбекерно или тошно? О факторах оценки 'второстепенного' писателя В.К. Кюхельбекера в истории русской литературы пушкинской поры', в *Четвертые Майминские чтения: Забытые и «второстепенные» писатели пушкинской эпохи* (Псков: Псковский ГПИ), 40–45.

Бестужев 1981: Бестужев-Марлинский, Александр. 1981. *Сочинения в 2 тт.*, II (Москва: Художественная литература).

Бороздин 1906: Бороздин, Александр (ред.). 1906. *Из писем и показаний декабристов: критика современного состояния России и планы будущего устройства* (Санкт-Петербург: Изд-во М.В. Пирожкова).

Вяземский 2006: Вяземский, Пётр. 2006. в *Карамзин: pro et contra*, сост. Любовь Сапченко (Санкт-Петербург: РХГА), 82–86.

Грибоедов 1971: Грибоедов, Александр. 1971. *Сочинения в 2 тт.*, II (Москва: Правда).

Дельвиг 1986: Дельвиг, Антон. 1986. *Сочинения* (Ленинград: Художественная литература).

Жуковский 2004: Жуковский, Василий. 2004. *Полное собрание сочинений и писем в 20 тт.*, XIII: *Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804–1833*, сост. и ред. Ольга Лебедева и Александр Янушкевич (Москва: Языки славянской культуры).

Лаппо-Данилевский 2013: Лаппо-Данилевский, Константин. 2013. 'Дружеское литературное письмо: специфика, истоки', в *XVIII век*, сб. 27 (Санкт-Петербург: Наука), 121–153.

Левкович 1978: Левкович, Я. 1978. 'Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А.Е. Измайлова к П.Л. Яковлеву', в *Пушкин. Исследования и материалы*, VIII (Ленинград: Наука), 160–183.

Лотман 1975: Лотман, Юрий. 1975. 'Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)', в *Литературное наследие декабристов*, под ред. Василия Базанова и Вадима Вацура (Ленинград: Наука), 25–74.

Макогоненко 1980: Макогоненко, Георгий. 1980. 'Письма русских писателей XVIII века и литературный процесс', в *Письма русских писателей XVIII века*, отв. ред. Георгия Макогоненко, (Ленинград, Наука), 3–41.

Орлов 1951: Орлов, Владимир (сост.). 1951. *Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика*, (Москва-Ленинград: Художественная литература).

Орлов 1963: Орлов, Михаил. 1963. *Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма* (Москва: Изд. АН СССР).

Пушкин 1982: Вацуро, Вадим, Гиллельсон, Михаил, Мушина Ирина и Турьян, Мариэтта (сост.). 1982. *Переписка Пушкина, в 2 тт.* (Москва: Художественная литература).

Пущин 1999: Пущин, Иван. 1999. *Сочинения и письма, в 2 тт., I: Записки о Пушкине. Письма 1816–1849 гг.* (Москва: Наука).

Росси 1994: Росси, Лаура. 1994. 'К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII в.', в *Slavica Tergestina*, 2: 91–115.

Степанов 1965: Степанов, Николай. 1965. 'Письма Пушкина как литературный жанр', в *Проблемы современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию академика В.В. Виноградова*, (Москва: Наука), 450–456.

Тодд 1994: Тодд III, Уильям Миллз. 1994. *Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху* (Санкт Петербург: Академический проект).

Тынянов 1977: Тынянов, Юрий. 1977. *Поэтика. История литературы. Кино* (Москва: Наука).

Эйдельман 1979: Эйдельман, Натан. 1979. *Пушкин и декабристы: из истории взаимоотношений* (Москва: Художественная литература).

